

КУЛЬТУРНОЕ «ПОГРАНИЧЬЕ»: МИФ ЛИЧНОСТИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ

Н. В. Гоголь является одним из тех мастеров, которые не только создают в литературе неповторимый художественный мир, но и обладают редким даром оставлять на нём отпечаток собственного присутствия, вращать в него непосредственным отношением и стихийно становиться его частью, или же полностью с ним сливаться. Однако в силу исключительной сюжетной, стилистической и ментальной самобытности крайне сложно формировать последовательную, рациональную и приемлемую для всех позицию в отношении творчества и частной жизни Гоголя. Этому препятствует *мифологическая «аура» личности писателя*, затягивающая в себя любого, кто знакомится с его произведениями, и властно теснящая (хотя и не вытесняющая) рациональное осмысление. Сущность мифа как состояния *буквального* (словесно, буквенным образом проявленного) и абсолютного тождества мира, человека и мышления проявляется в постоянном неосознаваемом взаимном переходе, подмене и отождествлении смысловых связей. Предметы и обстоятельства жизни и творчества писателя (содержание) неотличимы от его собственного отношения к ним и отношения современников и потомков (формы). Вследствие этого реальность становится равнозначной кажимости, а действительность — фантазии или иллюзии. Кроме того, проявляясь в опыте мышления писателя, миф выражается как тождество изречённого и неизречённого, мысли и чувства.

Мифологический характер формы мышления Гоголя проявляется прежде всего в амбивалентном отношении его к самому себе и своему мышлению. Он постоянно воспринимал себя как будто со стороны, смотря глазами внешнего наблюдателя, как будто впервые, — знакомился с самим собой. И, соответственно, видел себя другим:

— *Не добропорядочным, но греховным.* Это результат психологической травмы, полученной в детстве во время приступа так называемой детской жестокости, когда маленький Никоша утопил в пруду кошку. После этого писатель, стараясь вести добродетельную жизнь, так и не смог избавиться от комплекса вины, по его собственным словам, «как будто он убил человека».

— *Не незаметным обывателем, но духовным вождём, носителем апостольского учения.* Испытывая неудержимое любопытство и тягу ко всему демоническому, Николай Васильевич, тем не менее, серьёзно и глубоко изучал Священное Писание и даже пытался создать собственную концепцию-интерпретацию христианства.

— *Не окружённым друзьями и почитателями, но изгоем.* Несмотря на то, что уже самые первые его произведения снискали признание российского

читателя, Гоголь очень болезненно воспринимал малейшую критику и считал, что публика далека от истинного понимания его идей.

— *Не сложившимся и самобытным писателем, а «тенью гения».* Самолюбивая натура Гоголя нуждалась в наставнике, — но *гениальном* наставнике. Поэтому *сотворение кумира* не должно удивлять. Кем для Ломоносова был Пётр, тем для Гоголя стал Пушкин. К слову, между первым русским академиком и писателем из Малороссии можно найти немало смысловых параллелей, особенно в том, что касалось творческой и гражданской самооценки¹. Узнав о трагической кончине Пушкина, Гоголь писал друзьям: «Моя жизнь, моё высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! что труд мой? Что теперь жизнь моя?»² Парадоксальное сочетание высокопарности стиля и искренне смиренной восторженности содержания! Множественное повторение личных местоимений бросается в глаза и режет слух. Но всё же не настолько раздражает, чтобы вовсе отталкивать... Возможно, потому что так Гоголь сумел нейтрализовать обострённую противоречивость своих слов и добиться почти полного тождества позитивности и негативности впечатления от смыслов. Многочисленные гиперболы, которыми наполнены горестные слова писателя — свидетельства той почти детской непосредственности, с которой Гоголь, действительно, относился к Пушкину — и как человеку, и как творцу. Прихотливые словесные обороты сливались в его отношении с действительными чувствами, отчего впечатление становилось особенно сильным. Когда Гоголь *утверждал*, что Пушкин сотворил его как писателя и что его личная трагедия намного больше, чем трагедия любого из российских граждан или просто духовно одарённых и образованных людей, он *действительно так думал, и в какой-то мере это на самом деле было так.* Не обращая внимания на необходимость сдерживаться на людях, открыто демонстрируя свои чувства, он несколько не лицемерил, хотя со стороны это и выглядело несколько выпендрено. И, если бы не было так трагично по содержанию, то и гротескно по форме. Но таков уж был Гоголь: смех его — по-детски залиvistый и светлый, и скорбь — безудержная и навзрыд. Ни у

¹ Подробно об этом см.: Манн Ю. В. Творчество Гоголя: Смысл и форма. — XIX. Ломоносов в творческом сознании Гоголя. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. — С. 534–554.

² Гоголь Н. В. Письмо Погодину М. П., 30 марта (н. ст.) 1837 г. Рим // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. — Т. 11. Письма, 1836–1841. — 1952. — С. 99.

кого не прося позволения, он присвоил привилегию прилюдно говорить о сокровенном, — о чём многие думали, но боялись сознаться вслух. И эта нескромность, конечно же, вызвала бы волну остракизма со стороны общественного мнения и погубила бы его гораздо раньше, если бы он сам, добровольно, не признал раз и навсегда авторитет Пушкина над собой.

— *Не малороссом, но русским.* Это представление особенно красноречиво, поскольку ещё и абсурдно. Не являясь в действительности русским, Гоголь мог вообразить себя лишь «*другим русским*»; однако всё же «*другим русским*», так как, являясь славянином и россиянином, искренне не желал видеть себя малороссом³. Поэтому и западники, и славянофилы в равной мере воспринимали его как «своего среди чужих и чужого среди своих». Неоднозначность восприятия национальной и культурной принадлежности писателя усугублялась и его собственными размышлениями: «...Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характера, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве»⁴.

Мифологический характер содержания мышления Гоголя также выражается в смысловых подменах и проливает свет на формирование сюжетов его произведений. Отношение к миру одновременно как устойчивому и тождественному самому себе, но изменчивому в отношении к человеку (форма) стимулировало поиски другого места или другого мира; при этом любовь к прежнему месту и миру сохранялась (содержание). Иными словами, *временные* связи (отношение к *прошлому*, прежде всего, отечественному) *вытеснялись пространственными* (отношение к *вечному*, в особенности, эстетическому и религиозному опытам)⁵.

Формированию мифологического мироотношения в немалой степени способствовала и атмосфера Петербурга, куда он стремился с юности. Мифология северной столицы не могла не быть ему близкой: город воспринимал себя и воспринимался со стороны как «культурное

³ Можно предположить, что, будь Гоголь этническим русским, всё равно был бы «другим», поскольку не стал бы связывать свою жизнь только с Россией. Похожие опыты пережили, скажем, И. С. Тургенев и А. И. Герцен (последний впрочем, не по своей воле).

⁴ Гоголь Н. В. Письмо А. О. Смирновой. <24 декабря н. ст. 1844. Франкфурт> // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 12. Письма, 1842–1845. — 1952. — С. 419.

⁵ Надо признать, это было одним из неизбежных проявлений мифа в структуре общественного сознания в России, начиная с эпохи Петра: император стремился буквально сблизить Россию с Западом, не видя различий между временем и пространством. Пренебрежение вековыми традициями ради успешного решения насущных проблем сочеталось с географическим продвижением на Запад. Позднее Елисавета и Екатерина столь же прямолинейно пытались реализовать встречную политику приближения Запада к России, — и географически (позволив иностранным предпринимателям и учёным массово переселяться на территорию Империи), и идеологически (пропагандируя российскую культуру и пытаясь сделать российскую историю предметом научных исследований в Европе).

недоразумение», — видел себя глазами Европы (как Азию) или Москвы (как Европу), но только не собственными⁶. Петербург изначально был отчуждённо автономен, не сливаясь с общим российским контекстом; он — такой же «другой русский», как и Гоголь. Приехав туда, писатель это сразу почувствовал. Но и чувства его были непоследовательны, амбивалентны: с одной стороны, закономерны и долгожданны — отсюда и любовь к Петербургу как столице России; с другой — неестественны и безосновательны, как ко всему незнакомому и чужому, и оттого обжигающие нестерпимо; отсюда и желание бежать куда-нибудь — хоть за границу, но только подальше от России и «малой родины». Скорее всего, это объясняется тем, что Гоголь переместился из замкнутого, уютного locus'a родительского поместья с его заботой о бытовом и душевном комфорте на открытое, продуваемое ветрами всех соблазнов, неласковое пространство северного города. И это пробудило в нём страсть к приключениям, но в то же время нанесло непоправимую травму. Он понимал, что такая смена состояний жизненно необходима ему как писателю. Но как человек, переживал её тяжело и мучительно. Для него мера, граница, предел с детства были естественными, определяющими степень рациональности мышления, но одновременно и затрудняющими творческий процесс. Личная его драма состояла в том, что на относительно свободном от традиций петербургском пространстве с бесконечным выбором путей его мышление также не находило удовлетворения, теряло ориентиры и самоконтроль и *вбирало в себя чужой рациональный опыт, воспринимая его как другой — иррациональный и опасный*. Поэтому восприятие чужой социокультурной действительности рождало у писателя непредсказуемые, зловещие образы.

Вот почему в его отношении к окружающей действительности сквозила та же амбивалентность. Будучи выходцем из едва ли не самого «старого» из всех старосветских уголков Российской империи, Гоголь одним из первых заметил, насколько, при всей слаженности и крепкой сбитости, его мир был уязвим. И это неудивительно: там, где есть патриархальный, «гнездовой» образ жизни, можно пребывать только в абсолютном единстве с ним и собой, или не быть вовсе. Как только выпадает один малый кирпичик, рушится всё здание, как будто оно возникло на песке или в воздухе: покидает мир Пульхерия Ивановна, следом за ней угасает и Афанасий Иванович. И не потому, что любит её, — любовь не приводит к смерти. Но жизнь до этого текла слишком естественно, как будто по инерции — плавно, неосознанно и как будто даже безучастно. И только с приходом смерти обретается смысл — негативный, разрушительный, безжалостный смысл утраты единственной связи, державшей на себе всё.

Ничего подобного не могло случиться в Петербурге. Там житьё мучительно, одиноко и заброшено. Однако ж обросло множеством связей, вещей, ситуаций, обстоятельств. Они, как паутина, опутывают людей, не давая им упасть и расшибиться насмерть. Человек может бесконечно долго

⁶ См.: Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. — Т. 2. — Таллинн: Александра, 1992. — С. 14–15.

влачить жалкую полужизнь душевного калеки, но не умирать вовсе, выживая и переживая многих вполне здоровых духом и телом «старосветцев». Это как прививка ядом: жизнь от этого нестерпимее, но тем упорнее сопротивление. Этим Петербург привлекал и страшил Гоголя. Игра со смертью, как и игра со скукой (а жить на этом свете Гоголю явно было скучно) дома не удавалась, и он ехал за этим на Север, но и там не мог найти того, что искал... Этим же объясняется необузданное стремление покинуть горячо любимую Россию, по крайней мере, на то время, пока о ней писалось на страницах «Мёртвых душ»: «...Нынешнее моё удаление из отечества, оно послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим всё на воспитание моё. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни. Знаю, что мне много встретится неприятного, что я буду терпеть и недостаток и бедность, но ни за что в свете не возвращусь скоро. Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, моё имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бранный состав мой будет удалён от неё»⁷.

Привязанность к родине была прямо-таки *физиологической*, — настолько неуёмной, что в борьбе с ней писатель добровольно обрекал себя на изгнание. Любить родину на чужбине было не то чтобы гораздо легче, но понятнее, — и не было в том никакого лицемерия. В тишине зарубежья, «ласковой чужбины», ему приятнее было размышлять о родине, хотя и нельзя сказать, что проще. Он зачастую просто не в состоянии был творить на её территории. Слишком эмоционально воспринимал её. Нужна была *дистанция*, чтобы по-настоящему осмыслить её. Любовь к Родине, испытываемая Гоголем, была настолько безмерной, что, живи он в России, наверняка сошёл бы с ума гораздо раньше. Только географическая удалённость могла на какое-то время смягчать это гипертрофированное отношение и остуживать огонь чувств: «...Уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся, во всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими. Открытого горизонта нет предо мною»⁸. В другом месте — ещё более резко: «Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо моё принялось описывать предметы, могучие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнажённые пространства предпочёл я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный. В чужой земле я готов

⁷ Гоголь Н. В. Письмо Жуковскому В. А., 16(28) июня 1836 г. Гамбург // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 11. — С. 49.

⁸ Гоголь Н. В. Письмо Плетневу П. А., 17 марта 1842 г. Москва // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 12. — С. 46.

всё перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдёт до этого дело. Но в своей — никогда»⁹.

Оттого с такой танцующей лёгкостью он передавал свои ощущения от заграничной повседневности: «Осень в Вене наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за Мертвых душ, которых было начал в Петербурге. Всё начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и *теперь веду его спокойно, как летопись*»¹⁰. А вот так он чувствовал себя, впервые приехав в Рим: «Я знал только, что еду вовсе не за тем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы *натерпеться* (выделено мной — М. С.), точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от неё»¹¹.

Это было самое что ни есть мифологическое отношение, в котором все смысловые связи меняются местами, и всё не таково, каким кажется. Гоголь всем сердцем любил Россию, но не мог жить в ней подолгу, чувствуя глубокое отвращение к сложившимся там общественным и межличностным отношениям. Только за рубежом, в Италии, он мог ненадолго примириться с собой: любовь к русской душе оформилась только там, только оттуда он сумел разглядеть и понять эту душу, — отделив её от реальности, смог почувствовать себя россиянином. И потому — парадокс! — никак не желал уезжать из Италии; она — хранительница его отношения к миру: «О Рим, Рим! О Италия! Чья рука вырвет меня отсюда!»¹²

* * *

Мифологический характер сочетания формы и содержания гоголевского мышления неизбежно должен был проявляться в их непосредственном *тождестве*, основанием которого являлось *тождество мышления и бытия*. Причём, тождество это отнюдь не в гегелевском значении — как абсолютная диалектика, а в значении, используемым А. Ф. Лосевым — как *абсолютная мифо-логика*. Это тождество мышления писателя с его личностью, самостью, — тождество себя как живущего в реальном мире и мира, созданного силой собственного воображения.

⁹ Гоголь Н. В. Письмо Погодину М. П., 30 марта (н. ст.) 1837 г. Рим // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. — Т. 11. — С. 92.

¹⁰ Гоголь Н. В. Письмо Жуковскому В. А., 12 ноября (н. ст.) 1836 г. Париж // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 11. — С. 73.

¹¹ Овсяннико-Куликовский Д. Н. Гоголь // Овсяннико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. — Изд-е 4-е, дополн. — СПб.: Изд-е И. Л. Овсяннико-Куликовской, 1912. — С. 126. На этом основании многие исследователи делают вывод о якобы «нелюбви» Гоголя к России (См. например: Wojanowska, Edyta M. Nikolai Gogol: Between Ukrainian and Russian Nationalism. — Harvard University Press; Cambridge, Massachusetts; London, England, 2007. — 448 p.)

¹² Гоголь Н. В. Письмо Данилевскому 2 февраля 1838 г. Рим // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 11. — С. 130.

Этим, видимо, объясняется демонстративное нежелание писателя замечать какие-то общепринятые и значимые вещи. Гоголь как мыслитель вызывал удивление у многих исследователей тем, что мало или даже вовсе не интересовался состоянием духовной культуры прошлого и настоящего. Одним из первых обратил на это внимание и не смог с этим смириться российский литературовед XIX–XX вв. Д. Н. Овсяннико-Куликовский: «Чтобы гениальный поэт и человек с таким большим, глубоким и тонким умом, как Гоголь, мог духовно существовать и творить вне умственной жизни века, вне духовного общения, без умственной пищи, как хлеб насущный, необходимой всякому мыслящему уму, — это нечто почти невероятное, это — настоящая психологическая загадка. ... Чем больше и оригинальнее ум, тем больше берёт он от других умов»¹³. Исследователь полагал, что писатель был отличным мыслителем, но ленивым «учеником»¹⁴, пенял Гоголю за то, что тот совершенно был чужд знанию всемирного опыта научно-философской мысли¹⁵.

Конечно, это мнение во многом преувеличено: Гоголь отнюдь не чурался мировой мудрости. Пребывая за рубежом, в письмах друзьям интенсивно обменивался мнениями о культуре и искусстве Италии, Германии, Швейцарии, и чутко прислушивался к советам собеседников; самостоятельно изучал историю итальянской архитектуры. Особенность его как «ученика» была в том, что он подходил к вопросу самообразования строго избирательно, иногда сознательно игнорируя целые культурные пласты, что было крайне нетипично в условиях господства принципа «единства мира» и культа знания как самоценности. Этим отчасти частично объясняется отчуждённое отношение Гоголя к исторической науке. Мифологическое мышление не разделяет время на части, не различает в нём процессуальности прошлого, настоящего и будущего. И Гоголь подтверждал это: «У меня не было влечения к прошедшему»¹⁶. Поэтому, когда ему предложили возглавить кафедру русской истории в Киевском университете Св. Владимира, он не просто отказался от неё, а отмахнулся как чёрт от ладана. В письме к М. А. Максимовичу он называл тому причину, — вполне рациональную и даже объективную: «...Они воображают, что различие предметов это такая маловажность и что, кто читал словесность, тому весьма легко преподавать математику или врачебную науку; как будто пирожник для того создан, чтобы тачать сапоги»¹⁷. Однако это было лишь половиной правды. Истинная же причина прорывалась между строками в других местах: «Если меня не будет занимать предмет мой, тогда я буду несчастлив. Я очень

¹³ Овсяннико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 71.

¹⁴ Овсяннико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 80.

¹⁵ См.: Овсяннико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 84.

¹⁶ Гоголь Н. В. <Авторская исповедь> // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 8. Статьи. — 1952. — С. 449.

¹⁷ Гоголь Н. В. Письмо Максимовичу М. А., 28 мая 1834 г. С.-Петербург // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 10. Письма, 1820–1835. — 1940. — С. 319.

хорошо знаю своё сердце, и потому то, что для другого кажется своенравием, то есть у меня следствие дальновидности»¹⁸.

Поясняя мысль Гоголя, можно предположить, что писателю важно было иметь не только знания, но знания в единстве с *впечатлениями*, придающими выразительность и выводящими читателя из состояния спокойствия и равновесия. Прошлое казалось ему малоизвестным и не давало такого впечатления, потому он страшился утонуть в нём, оказаться в плену времени, утратить мировоззренческие ориентиры, навсегда оторвавшись от настоящего. И оттого искал такое убежище, такое социальное пространство, где время было бы не властно над ним, где господствовало бы «вечное настоящее». В реальной жизни это была Италия; в духовных исканиях он отдавал предпочтение не строгости исторических документов, а народным песням и думам, не делая различий между научными и эстетическими ценностями: «Я не распространяюсь о важности народных песен. Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтического, и он при всей многосторонности её не получил высшей цивилизации, то весь пыл, всё сильное, юное бытие его выливается в народных песнях. <...> Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции: в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа, когда захочет выпытать дух минувшего века, общий характер всего целого и порознь каждого частного, тогда он будет удовлетворён вполне; история народа разоблачится перед ним в ясном величии»¹⁹. Поэтому вряд ли можно говорить о профессиональном исследовании истории Гоголем; скорее, это были попытки обнаружить следы собственной, личной истории среди истории своего народа, выявить мифологическую оболочку истории.

Таким образом, создавалось впечатление, что писателю, и в самом деле, как будто было достаточно самого себя, собственного мира. У него совершенно не обнаруживалось тяги следовать модным и популярным мировоззренческим тенденциям. Его мысль была, можно сказать, «эгоистичной», во всём видя по преимуществу самоё себя. Овсяннико-Куликовский называл это «избытком самоанализа» или «эгоцентризмом сознания»²⁰, чрезмерностью рефлексии: «...Невольно, сам не отдавая себе отчёта в том, Гоголь становился в своих отношениях к окружающей среде, к людям, к жизни, на точку зрения, выражаемую в формуле: “я и всё прочее”. И вот именно “всё прочее” отражалось в его душе не само по себе, а через посредство настроений его “я”, которое навязчиво и неотступно

¹⁸ Гоголь Н. В. Письмо Максимовичу М. А., 10 июня 1834 г. С.-Петербург // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 10. — С. 323.

¹⁹ Гоголь Н. В. О малороссийских песнях // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 8. — С. 90, 91.

²⁰ См.: Овсяннико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 110.

сопутствовало всякому впечатлению, всякому душевному движению»²¹. Это мнение справедливо только отчасти; точнее будет сказать, что писатель воспринимал собственное Я равным миру, а мир — непосредственно равным собственному Я. Но, как было сказано несколько позже и в другом месте, «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»²². То же случилось с Гоголем. Правда, стремиться к этому можно по-разному. Российский литературовед, как рационалист, избрал «критику справа» и потому пришёл к негативной оценке состояния внутреннего мира Гоголя: «Ибо и темно, и тревожно в душе человеческой, и взор, прикованный к её микрокосму, смотрит в темноту и по необходимости становится игральным всем, что там залежалось, что там глухо бродит, что прячется, — разных более или менее допотопных понятий, спящих в бессознательной сфере духа, различных иллюзий сознания и тайных самообманов чувств, имеющих свой смысл и свою душевную правду, пока они скрыты, и становящихся ложью, когда обнаружены»²³.

Однако вот что любопытно и даже парадоксально: при постоянном сосредоточении Гоголя на себе в его художественных произведениях отсутствуют авторские размышления в привычном понимании, выражающие личное отношение к окружающему миру. Они, если и есть, то только в отношении автора к самому себе — как вопрошания, внезапные вспышки рефлексии, выглядящие искусственно и неуместно, ибо нарушают целостность восприятия сюжета²⁴. Вероятно, это тоже моменты проявления мифологичности его творчества. У Гоголя *рефлексией наполнен весь сюжет* — до малейших подробностей. У него *всё насыщено мыслью*: рефлектируют вещи, ситуации, герои — особенно в состоянии страха или восторга, когда, казалось бы, замирает всякая мысль. Однако эта рефлексия выливается не в слова, а в *поступки*, реальные действия, так как писатель не задумывался над степенью объективности языковых средств выражения мыслей. В отличие от произведений, скажем, Достоевского, где очень много слов и мало движения, всё сосредоточено на работе мысли, в произведениях Гоголя всё переполнено движением. Местами даже каким-то суетливым движением, бесцельным или само-цельным. Но в любом случае — цельным, самодостаточным. Мир, изображённый Гоголем, не нуждается в особо высказанном и осмысленном во времени человеческом слове, так как привык высказываться иначе, — «сам». И человеку, конечно же, страшно оттого, что он не успевает ухватить брошенное миром слово и вовремя отреагировать на него. Однако этот загадочный мир почему-то не спешит тут же наказывать человека, и тот всё же успевает приноровиться...

²¹ Овсяннико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 113.

²² Ницше Ф. В. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего, 4, 146 / Пер. Н. Полилова // Ницше Ф. В. Сочинения: В 2 т. — М.: Мысль, 1990. — Т. 2. — С. 301.

²³ Овсяннико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 111.

²⁴ На это есть соответствующие указания исследователей: Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя. — Л.: Худож. лит., 1989. — С. 7–8.

Впрочем, на всё есть свои причины. Если углубиться в переписку Гоголя, становится ясно, что он не только старался противопоставить собственное мнение общественному, но стремился быть внимательным к самому себе, оценивать точно свои умственные способности, и сопоставлять их с чужими духовными опытами: «...Никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пьес, тогда как я производил их, *основываясь на разумении самого себя, на устройстве головы своей*»²⁵. Эти слова вызывают весьма неоднозначное впечатление: в них, с одной стороны, — полнейшее отсутствие сомнений и уверенность в собственной правоте, с другой — жажда нести ответственность за результаты своей деятельности. Как видим, Гоголь нисколько не боялся прослыть самоуверенным индивидуалистом, напротив, — всячески гордился этой своей особенностью, многократно подчёркивал и разъяснял её. Этот ригоризм хорошо виден в письме к П. В. Анненкову: писатель считал, что, даже находясь в гуще общественных событий, «нужно иметь свой собственный уголок, в который можно было <бы> на время уходить от всего. Нельзя, чтобы каждый из нас не получил на долю свою какой-нибудь способности, ему принадлежащей... Иначе мы бы все походили друг на друга, как две капли воды, и весь мир был бы одна мануфактурная машина»²⁶. Этой способностью, как каменной стеной, Гоголь пытался отгородиться от остального пространства; внутри него нет рационализма или прагматизма, есть только чудесное, романтическое или комическое — но, в любом случае, очень непосредственное и образно-наглядное. Этим «собственным уголком», куда писатель прятался при каждом случае, был его личный внутренний мир. И это было понятно: не имея возможности переделать под себя объективные условия, но и не желая отказаться от них совсем, он непрестанно жаждал создавать вокруг себя новую среду, и делал это, независимо от местопребывания.

²⁵ Гоголь Н. В. Письмо Шевыреву С. П., 28 февраля н. ст. 1843 г. Рим // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 12. (Выделено мной — М. С.)

²⁶ Гоголь Н. В. Письмо Анненкову П. В., 7 сентября н. ст. 1847 г. Остенде // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 13. Письма, 1846–1847. — 1952. — С. 384.